

В. Г. Белинский

**Сто русских литераторов.
Том третий**



Виссарион Григорьевич Белинский

Сто русских литераторов. Том третий

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2778505

Аннотация

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка В.Г. Белинского в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю». Это обстоятельство Белинский и обещал избрать основной темой будущей статьи.

Содержание

Примечания
Комментарии

63

Виссарион Григорьевич Белинский Сто русских литераторов. Том третий

Издание книгопродавца А. Смирдина. Том третий. Бенедиктов. Бегичев. Греч. Марков. Михайловский-Данилевский. Мятлев. Ободовский. Скобелев. Ушаков. Хмельницкий. Санкт-Петербург. 1845.

За шесть лет пред сим вышел первый том «Ста русских литераторов». Тайнственные слухи заранее предупредили читающий мир о появлении этого издания^[1]. В России все идет скоро, и потому не удивительно, что в 1839 году великолепные издания могли казаться чудом. В самом деле, огромный, изящно изданный сборник статей лучших русских писателей, – при каждой статье гравированный на стали, в Лондоне, портрет автора, и гравированная на стали картинка к каждой статье: да это что-то прекрасное по мысли, великолепное по изданию! Имя издателя, книгопродавца г. Смирдина, давно уже приобрело на Руси общую известность и общую доверенность. В глазах русской публики г. Смирдин давно уже не принадлежал к числу обыкновенных торгашей

книгами, для которых книги – такой же товар, как и сено, сало или деготь, только, может быть, менее наживной и выгодный, и которые могут знать толк и в сене, и в сале, и в дегте, но не в книгах. Нет, русская публика видела в г. Смирдине книгопродавца на европейскую ногу, книгопродавца с благородным самолюбием, для которого не столько было важно нажиться через книги, сколько слить свое имя с русской литературой, внести его в ее летописи. И русская публика не ошиблась в этом случае: г. Смирдин точно был достоин ее высокого о нем мнения. Он хотел торговать, следовательно, хотел барышей, хотел наживать, – однако ж наживать не только честно, но еще и почетно, со славою. Для этого он поставил себе за правило издавать только хорошие сочинения и давать ход только хорошим сочинениям. Правда, он мог издать и дурную книгу, но не намеренно, а по ошибке своего вкуса или по ошибочному совету тех, чьему вкусу доверял он. Но каких бы барышей ни обещало ему сочинение, в ничтожности которого он был убежден, – никогда не решился бы он издать его на свой счет. Ему всегда легче было решаться на издание хорошего сочинения, которое требовало больших издержек и вместо барышей обещало убыток, нежели решиться на издание дурной книги, обещающей верную прибыль. В этом было его самолюбие, его честолюбие, его гордость, его страсть – тем более удивительные, тем более бескорыстные, что он сам, по своему образованию, воспитанию, привычкам, понятиям, образу жизни, не мог ни

ценить, ни наслаждаться содержанием и достоинством тех сочинений, которых был издателем и которыми доставлял наслаждение всему читающему русскому миру. Вследствие этого он должен был руководствоваться советами и указаниями тех книжных людей, которые и читают и сами пишут книги. Надо согласиться, что положение г. Смирдина было в этом отношении очень затруднительно, потому что он не обладал никаким прочным основанием, которое могло бы руководить его в выборе советников. Это неприятное обстоятельство было впоследствии причиною всех его неудач и разрушения его надежд – быть долго полезным русской литературе. А между тем он все-таки сделал для русской литературы так много, что упрочил своему имени почетную страницу в ее истории. Итак, не будем обвинять его за то, что он мог бы еще сделать и чего, однако ж, не сделал; но отдадим ему должную справедливость за то, что им сделано.

А он, повторяем, много сделал: он произвел решительный переворот в русской книжной торговле, и вследствие этого в русской литературе. Он издал сочинения Державина, Батюшкова, Жуковского, Карамзина, Крылова – так, как они, в типографском отношении, никогда прежде того не были изданы: то есть опрятно, даже красиво, и – что всего важнее – пустил их в продажу по цене, доступной и для небогатых людей. В последнем отношении заслуга г. Смирдина особенно велика: до него книги продавались страшно дорого и поэтому были доступны большею частию только тем лю-

дям, которые всего менее читают и покупают книги. Благодаря г. Смирдину приобретение книг более или менее сделалось доступным и тому классу людей, которые наиболее читают и, следовательно, наиболее нуждаются в книгах. Повторяем: это главная заслуга г. Смирдина перед русскою литературою и русскою образованностью. Чем дешевле книги, тем больше их читают, а чем больше в обществе читателей, тем общество образованнее. В этом отношении деятельность книгопродавца, опирающаяся на капитале, благородна, прекрасна и богата самыми благотворными следствиями. Такова была деятельность г. Смирдина: она безукоризненна в том отношении, которое зависело от его воли, от его честного самолюбия, его благородной страсти. Но в том, что зависело от вкуса, образованности и знания, и в чем г. Смирдин, как мы уже сказали, сам зависел не от самого себя, а от советов и внушений тех литераторов, на суждение которых он должен был безусловно полагаться, — в этом отношении его издания имели большие недостатки.

Редакция его изданий всегда была далеко ниже их типографского выполнения, зависевшего только от издателя. Так, например, сочинения Державина изданы не в хронологическом порядке, по времени их появления из-под пера поэта, а на основании ложного разделения по родам, которым всегда руководствовалась при издании сочинений каждого автора старая, так называемая *классическая* школа. «История государства Российского» Карамзина благодаря г. Смирдину сто-

ила только *тридцать рублей ассигнациями* вместо прежних *полтора* и больше рублей, следовательно, в *пять* раз дешевле. Вышла она в двенадцати небольших книжках в 12-ю долю листа, напечатанных, однако ж, не слишком мелким и очень четким шрифтом. Чего бы, кажется, лучше! И, действительно, на стороне книгопродавца тут одна только заслуга, и заслуга великая! Но образованные, просвещенные, ученые и даровитые писатели, принимавшие участие в редакции «Истории» Карамзина, дали ему благой и мудрый совет – частью посократить, частью повыбросить примечания!.. Зачем это было сделано? Затем, чтоб книжка была тоньше, издание обошлось дешевле и его можно было бы пустить в продажу дешевле. Очень хорошо; но в таком случае всего бы лучше было напечатать «Историю» Карамзина совсем без примечаний. Тогда она годилась бы по крайней мере для тех людей, которые читают историю, как роман, как повесть, как сказку, и для которых скучно заглядывать в примечания, состоящие часто из интереснейших и любопытнейших выписок из летописей и современных записок, чтоб поверять ими и события и автора истории. Но редакторы или советчики, желая угодить всем, не угодили никому. Тем, кто не любит примечаний, они все-таки навязали же примечания, хотя и неполные, которые только без нужды увеличили книгу и ее цену, тех же, для которых примечания важны не меньше самого текста, они снабдили искаженными примечаниями, которые поэтому не имели уже никакой цены. И если для пер-

вых лучше было бы издать «Историю» Карамзина совсем без примечаний, то естественно, что для последних следовало бы ее издать с полными примечаниями, тем более что три или много четыре лишние листа при книге не слишком увеличили бы ее толщину (книжки вышли очень тонки) и расходы издания. В последнем случае лучше бы возвысить цену книги рублями пятью, потому что и 35 рублей – все-таки вчетверо дешевле 150 рублей. Тогда издание равно годилось бы для всех – и для тех, кому не нужны примечания, и для тех, кому они нужны, между тем как искажение примечаний много повредило успеху издания и, следовательно, выгодам издателя. Раскройте журналы того времени, – вы увидите, что мы говорим правду: это произвольное и ненужное искажение примечаний встречено было общим ропотом. И не удивительно: теперь каждый образованный читатель с большою охотою заплатит г. Эйперлингу 50 рублей ассигнациями за его компактное и прекрасное издание «Истории» Карамзина, нежели г. Смирдину 10 рублей ассигнациями за его дешевое издание той же «Истории»^[2].

Г-ну Смирдину пришла счастливая мысль издать полный каталог своей огромной библиотеки; но для осуществления этой мысли он мог только пожертвовать капиталом, а не быть редактором издания, и издание вышло из рук вон плохо. Составлявшие каталог держались такого неслыханного порядка в разделении книг по их содержанию, что из хорошей книги поневоле вышел вздор^[3]. Поверят ли, что в этом каталоге,

в отделе богословских книг, помещены: «Ключ к тайнствам природы» Эккартсгаузена, «Дочь молочника, истинная и занимательная повесть» и другие повести и сказки нравственного содержания; а в отделе философии – книги вроде следующей: «Смеющийся Демокрит, или Поле честных увеселений, с поруганием меланхолии»?..^[4] Еще хорошо, что при этом каталоге есть общий каталог, по алфавиту, всех книг и всех авторов, и потому, хоть и с трудом, а можно приискать книгу, которую нужно. Благодаря этому обстоятельству каталог г. Смирдина – настольная ручная книга в кабинете каждого литератора. Но будь он составлен как следует, это была бы бесценная книга. Из всего этого видно, что мог бы сделать для русской литературы и русского образования такой книгопродавец, как г. Смирдин, если б он не имел нужды в чужих советах и чужом руководстве и мог действовать самостоятельно... Но еще больший переворот в русской литературе сделал г. Смирдин своим журналом – «Библиотека для чтения». Появление этого журнала – истинная эпоха в истории русской литературы. До него наша журналистика существовала только для *немногих*, только для *избранных*, только для *любителей*, но не для *общества*. Лучший тогда журнал, «Московский телеграф», пользовавшийся большим успехом, нежели все предшествовавшие и современные ему журналы, почти постоянно держался на 1200 подписчиках и никогда не имел их больше 1500. Это считалось тогда огромным успехом; но с появления «Библиотеки для чтения» вся-

кому журналу необходимо стало иметь больше 1000 подписчиков только для издержек на издание. Отчего произошла такая быстрая перемена? Оттого, что с появления «Библиотеки для чтения» литературный труд сделался капиталом... Много было тогда об этом споров, и многие видели в этом унижение литературы, литературное торгашество. Рыцари литературного бескорыстия, или, лучше сказать, литературного донкихотства, не замечали, что в их пышных фразах больше ребячества, нежели возвышенности чувства. В наше время, когда не богачам жить так трудно и жить можно только трудом, в наше время не ценить литературы на деньги – значит не ценить ее ни во что, не признавать ее существования. Действительно, можно ли предполагать богатую литературу там, где книги – не товар и где говорят: «Все товар – и битое стекло, и мусор, и песок; но книги – не товар»? Можно ли предполагать действительное существование литературы там, где может жить своим трудом и поденщик, и разносчик, и продавец старого тряпья и битой посуды, и тем более писец, но где не может жить своим трудом писатель, литератор? Что бы ни говорили, но аксиома неоспоримая, что нельзя в одно и то же время быть вполне и хорошим чиновником и хорошим литератором: чиновник непременно будет мешать литератору, а литератор чиновнику. Чтоб быть ученым, поэтом или литератором вполне, необходимо видеть в науке, в искусстве или в литературе свое исключительное призвание, свое, так сказать, ремесло, свой род про-

мышленности, говоря языком политической экономии. Нам скажут, что между нашими знаменитыми писателями были и есть люди, отличавшиеся и отличающиеся на служебном поприще. Верим; но что же это доказывает, если не то, что эти же самые знаменитые писатели были бы еще знаменитее, то есть лучше и больше писали бы, если б могли посвятить свою деятельность исключительно одной литературе? Мы ведь не говорим, что только литература непременно мешает службе; нет, мы говорим, что у одного литература мешает службе, у другого служба мешает литературе, а у третьего служба и литература взаимно мешают друг другу (последнее бывает чаще всего и хуже всего, потому что чиновник хуже чиновника, так же как полулитератор хуже литератора). И это будет продолжаться до тех пор, пока литературная деятельность не будет одна обеспечивать существование литератора. До сих пор одною из существенных причин жалкого состояния нашей литературы должно считать то, что у нас очень много полулитераторов и очень мало литераторов. Говоря это, мы хотим только указать на существующий факт, а совсем не винить в этом кого-нибудь. Что необходимо, в том никто не виноват, а полулитераторство до сих пор – необходимость, своего рода неотразимый *fatum*¹. В этом даже есть своя хорошая сторона, хотя и не для литературы: лучше пусть чиновник дополняет скудные свои доходы урывочными литературными трудами и ими приоб-

¹ судьба (лат.). – Ред.

ретаает возможность существовать, нежели служебными злоупотреблениями – этим любимым источником людей старого поколения. Но еще будет лучше, когда всякий человек с талантом или с способностями к литературе только в одной литературной деятельности будет находить верный и благородный источник своего обеспечения.

Мы не скажем, чтоб г. Смирдин своею «Библиотекою для чтения» довел русскую литературу до состояния обеспечивать внешнее положение ее деятелей; но он *первый* положил начало такому ходу русской литературы. Бывало, журнал мог не только держаться, но и доставлять выгоды своему издателю при каких-нибудь трехстах подписчиках, – а при пятистах журнал считался богачом. И не мудрено: издатель его тратился только на бумагу и печать. Вот отчего так много издавалось тогда журналов в Москве, где бумага и печать и теперь гораздо дешевле, нежели в Петербурге. Книжки журналов тогдашних были маленькие, тощенькие и набивались стишками, изредка оригинальными повестями (большею частию *отрывками* из неконченных романов и повестей) да переводами. Весь этот материал доставался издателям даром, и если они давали за что скудную плату, так разве за переводы. Исключения были редки... Тогда был золотой век литературной невинности, или, лучше сказать, ребяческого литературщичества: тогда читали и писали из одной чистой любви к литературе, как невинному и благородному занятию, а печатались из одной чести видеть себя в печати... Истин-

ная литературная Аркадия, настоящая журнальная идиллия, в которой овцы были довольны, а пастухи сыты!.. Правда, тут не было торгашества, по крайней мере со стороны добровольных вкладчиков, если не издателей; зато сколько было тут мелкого самолюбия, сколько ребячества и как вся литература походила на детскую игру в мячик: перебрасывались стишками ни на что и полемикою из ничего – и были довольны, счастливы!..

Но все вдруг изменилось с появлением журнала г. Смирдина: за статьи установилась плата, литературный труд сделался капиталом. Сначала это новое движение в литературе не могло не иметь своих дурных сторон, как и всякий общественный успех. Но ведь и цивилизация имеет свои дурные стороны, которых не знают общества, пребывающие в диком состоянии; однако ж только славянофилы могут утверждать, что лучше оставаться людям дикарями, нежели вместе с благодеяниями цивилизации принять и ее неизбежные недостатки. Итак, сначала приманка платы за литературный труд произвела вместе с хорошими следствиями и дурные: появилось множество писак, которые думали, что за их сочинения так вот и польется на них золотой дождь; даже люди с способностями и дарованием начали заботиться не столько о том, чтоб хорошо писать, сколько о том, чтоб много и скоро писать. Но это не было продолжительно: лишь только новость обратилась в обычай и обыкновение, как все вошло в свои должные границы. И теперь, право, лучше и вернее,

чем прежде, ценится и талант и бездарность, писака никогда не перебьет дороги у писателя, а плохое произведение никогда не предпочтется хорошему за то, что последнее дороже. По крайней мере так бывает теперь в мире журналистики. Книгопродавцы доселе продолжают руководиться советами литераторов, с которыми имеют дела и мнению которых верят, а не то – именами меряют достоинства произведений, и за плохую повесть знаменитого, хотя и выписавшегося писателя, всегда дадут втрое и впятеро больше, нежели за прекрасное произведение молодого человека, который только что начинает и еще не успел приобрести себе литературного имени. Но журналы (разумеется, хорошие) должны быть чужды этого упрека, – и если вы прочтете в журнале плохую повесть, приписывайте ее помещению не безвкусию и не скупости журналиста, а только тому, что и за деньги не мог он достать хорошей повести. Этим и только этим должно объяснять помещение в журналах всего посредственного и дурного: если негде взять хорошего, поневоле станешь печатать, что есть, выбирая из худого менее худое; но хороший роман, хорошая повесть, драма, хорошая журнальная статья уже не залежатся в портфеле автора потому только, что он хочет взять за свой труд хорошую цену. Если же журналист по расчету, из экономии, наполняет свой журнал балластом, этим он не может не вредить успеху своего издания; следовательно, и в материальных выгодах не может не терять, думая выигрывать. Сами книгопродавцы, издавая мно-

го посредственного, уже почти не издают дурного, а, напротив, часто издают и хорошее. Если б в настоящее время русская литература была богаче талантами и таланты были бы деятельнее, то плата за труд, обратившаяся в обычай, сделала бы то, что печатались бы только хорошие произведения, а посредственные и дурные нашли бы свой складочный магазин только в тех журналах, которые издаются на прежнем основании литературного бескорыстия, то есть бескорыстного обычая прежних журналистов не платить сотрудникам и вкладчикам. И потому так называемое торговое направление, данное г. Смирдиным русской литературе, даже и в отношении к успехам вкуса принесло великую пользу и только вначале произвело немного вреда.

Любопытно вспомнить кстати, какие толки и вопли пробудила тогда «Библиотека для чтения» в отношении к ее праву платить за статьи. Через год после появления этого журнала (в 1835 г.) в Москве основался новый журнал, – и официальный критик этого журнала вот что провозгласил в своей статье «Словесность и торговля»:

Да, да, – мой взгляд на современную нашу литературу будет ныне совершенно материальный. На журналы я смотрю, как на капиталистов. «Библиотека для чтения» имеет для меня пять тысяч душ подписчиков, «Северная пчела», может быть, вдвое. Замечательно, что эти журналы еще в том сходятся с богачами, что любят хвастаться всенародно своим богатством. – Эти души подписчиков гораздо вернее,

чем твои оброчные: за ними нет никогда недоимки, они платят вперед, и всегда чистыми деньгами, и всегда на ассигнации. – Вот едет литератор в новых санях; ты думаешь, это сани. Нет, это статья «Библиотеки для чтения», получившая вид саней, покрытых медвежьего полстью с богатыми серебряными когтями. Вся эта бронза, этот ковер, этот лак чистый и опрятный – все это листы дорого заплаченной статьи, принявшие разные образы санного изделия. Литератор хочет дать обед и жалуется, что у него нет денег. Ему говорят: да напиши повесть – и пошли в «Библиотеку для чтения»; вот и обед. Одним словом, литература наша сыта, дает обеды, *живет в чертогах* (?!), *ездит в каретах*, в лаковых санях, кутается в медвежью шубу, в бекеш с бобровым воротником, *возвышает голос на аукционах Опекунского совета*^[5], *покупает имена!*.. (?!?!..) Настал если не золотой, то самый сытный век нашей литературы. Дождались мы того счастливого времени, что статьи наши считаются за верные банковые билеты, что словесность наша имеет свой торговый дом, в котором эти измаранные билеты тотчас вымениваются на чистые печатные, всё приобретающие. Не на Парнасе сидят наши музы, не среди их в небесах, а в снегу обитает наша словесность. Я представляю ее себе владельницею ломбарда; здесь, на престоле из ассигнаций, восседает она со счетами в руке. В огромных залах ее чертогов великое множество просителей с исписанными тетрадами в руках; билеты равно принимаются от известных и неизвестных;

она всех сравнивала по уровню печатного листа, за исключением немногих прежних капиталистов; но между этими просителями нет уже ни одного героя, который осмелился бы, как прежде, поднять голову над всеми и объявить монополию на повесть, на роман, на поэму. Но кто невидимый герой всего этого мира? Кто устроил ломбард нашей словесности и взял ее производителей под свою опеку? Кто движет всею этою машиною нашей литературы? *Книгопродавец*. С ним подружилась наша словесность, ему продала себя за деньги и поклялась в вечной верности^[6].

Эта шумливая выходка против прекрасного дела г. Смирдина говорит всего убедительнее в его пользу. Во-первых, широковещательная и многоглаголивая статья эта напечатана в журнале, который в своей программе объявил, что он будет «платить за статьи, и платить *нескупно*». Во-вторых, велеречивый сочинитель этой статьи не замедлил послать в журнал г. Смирдина статью на общих для всех основаниях денежного вознаграждения^[7]. (Вот подлинно, проданся, да и бранит других, что они продают свои труды!..) В-третьих, в отрывке, который мы выписали из статьи, что ни слово, то неправда, что ни слово, то выдумка, что ни слово, то преувеличение. Все это наговорено, как выражается Манилов в «Мертвых душах», только «для красоты слога»^[8], для метафор и фигур, для ретирики. Ритор, когда говорит, прислушивается к собственным словам, жует их и облизывается; что ему за дело, что в них заключается суцая нелепость или во-

все ничего не заключается!.. Что иной автор мог купить себе сани за цену статьи, отданной им в журнал г. Смирдина, – это не невозможное дело. За деньги, полученные от того же журнала за целый ряд статей, печатавшихся в продолжение нескольких лет, иной мог, пожалуй, купить и карету: опять не невозможное дело. Но превратить статью в карету или, посредством даже многих статей, прийти в состояние возвышать голос на аукционах Опекунского совета и покупать деревни, – воля ваша, все это нелепость, то есть пустая и шумливая риторика. Правда, у нас были два романиста, которые своими романами, говорят, приобрели себе состояние;^[9] но это случилось или до «Библиотеки для чтения», или без ее содействия, и подобный успех был совершенною случайностью, из которой смешно было бы делать общее правило. Золотой дождь, полившийся из журнала г. Смирдина на русских литераторов, привиделся во сне московскому критикану, а он взял да и напечатал свой сон, как будто все это было действительностью, благо, что бумага все терпит и ни от чего не краснеет... Довольно и того, что журнал г. Смирдина положил начало обычаю вознаграждать по мере возможности литературный труд и через это дал литераторам большую возможность, нежели какую имели они прежде, предаваться литературным занятиям. И то было истинным подвигом с его стороны, и за то ему честь и слава! Говорят: наш век железный^[10], денежный и промышленный, – фразы! Люди всегда были и будут людьми: ни прежде, ни теперь и ни

после не могли, не могут и не будут они в состоянии питаться и одеваться воздухом. Плата за честный труд нисколько не унижительна; унижительно злоупотребление труда. И, по нашему мнению, гораздо честнее продать свою статью журналисту или книгопродавцу, нежели кропать стишонки в честь какого-нибудь мецената, милостивца и покровителя, как это дельвалось в *невинное* и *бескорыстное* время нашей литературы, когда подобными *одами* добивались чести играть роль шута в боярских палатах, получали места и выходили в люди...

Движение, данное г. Смирдиным русской литературе, сначала было очень сильно. Почти вслед за журналом его начал издаваться г. Плюшаром «Энциклопедический лексикон»^[11] – предприятие огромное и приведшее в движение много перьев, которые до того лежали без употребления. Пока это издание шло хорошо, его владелец показал едва ли не первый пример честного вознаграждения за труд на правилах европейской коммерции, то есть записка от главного редактора, предъявленная в конторе редакции, была истинным банковым билетом: деньги выдавались в ту же минуту, сполна, без ужимок, без гримас, без отсрочек до следующей недели, без просьбы – принять пока половинку, и *монеткою* вместо ассигнаций (так как тогда ассигнации ходили с лажем)^[12], без жалоб на недостаток денег, на дороговизну времени, стесненные обстоятельства, – словом, без всех этих неприятно-

стей, которые делают для вас истинною мукою получение денег, по праву вам принадлежащих...

Как пошел в ход журнал г. Смирдина, как действовала его редакция, об этом мы не будем говорить, потому что это не относится к предмету статьи. Скажем только, что г. Смирдин все сделал для своего издания, что должен был и что мог он сделать, даже более. Он не боялся риска, сыпал деньгами, ходил к литераторам, принимал их у себя, гонялся за статьями, заказывал их, торопил окончанием, кланялся, просил... Что бы мог делать он больше?

«Сто русских литераторов» едва ли не самое любимое из всех изданий, которые когда-либо предпринимал г. Смирдин. Он начал его со страстью, продолжает с упорством и, по-видимому, ожидает от него много пользы. Посмотрим, до какой степени основательны эти надежды.

Мысль издания «Ста русских литераторов» не лишена оригинальности. Это своего рода портретная галерея русских писателей, которая не только знакомит читателя с лицом и почерком каждого замечательного писателя, но и напоминает ему его талант и его манеру статьею, приложенною к портрету. Картинки, сюжет которых заимствован из статей, составляющих содержание книги, дополняют собою роскошь издания. Все это очень недурно придумано, и таким образом можно было бы составить целый ряд очень интересных книг, издание которых принесло бы и честь и прибыль книгопродавцу. Но и тут г. Смирдин сделал все, что мог и

чего вправе была требовать от него публика, то есть он не жалел ни денег, ни хлопот. Изданные им три тома «Ста русских литераторов», по красоте издания, по портретам и картинкам, – книги хоть куда, книги, каких у нас немного и каких, до выхода первого тома этого издания, никогда не бывало. Г-н Смирдин предположил себе издать десять томов, с десятью портретами и десятью картинками в каждом; что же касается до статей, то, по его плану, их не могло быть меньше, не могло быть больше десяти в каждом томе. Итак, *сто* портретов, *сто* литераторов для всего издания! Где наберет их г. Смирдин? спрашивали мы самих себя, когда прошел слух об этом предприятии. Не полагая, чтоб невозможное было возможно, мы думали, что, во-первых, г. Смирдин начнет свое издание с Кантемира, Тредьяковского, Ломоносова, Поповского, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Фонвизина, Богдановича, Княжнина, Аблесимова, Капниста и т. д. В таком случае, держась хронологического порядка, он мог бы наполнить тома три одними писателями, предшествовавшими Пушкину. Подобная мысль была бы недурна. Тут нечего было бы рассуждать о том, поэты или не поэты были Тредьяковский, Сумароков, Херасков, Петров; они играли в свое время важную роль в русской литературе и пользовались огромною известностию: этого довольно. Строгость выбора – дело важное; но г. Смирдин, в этом выборе, непременно должен был принять за основание известность, какую в свое время пользовался тот или другой пи-

сатель. Мы думали, что г. Смирдину удалось достать хоть по одному или по нескольку из неизданных сочинений этих писателей, а при портретах тех, после которых не оставалось ничего ненапечатанного, он приложит что-нибудь уже из напечатанного и известного, – что-нибудь такое, что характеризовало бы писателя, портрет которого находился перед глазами читателя. Это была бы истинная портретная и в то же время историческая галерея русской литературы, великолепный памятник, воздвигнутый русской литературе просвещенным и умным усердием книгопродавца. Тут главное дело – хронологическая последовательность деятелей русской литературы, так, чтоб каждый том представлял целую группу писателей отдельной эпохи и чтоб это была, так сказать, своего рода история русской литературы в лицах. Нечего и говорить, что, когда бы дошло дело до живых литераторов, их портреты явились бы с новыми статьями. Но и тут нас ужасало число *семьдесят*: где наберет столько писателей г. Смирдин?.. Но, когда вышел первый том «Ста русских литераторов», мы тотчас поняли, что, при нужде, он может набрать их, пожалуй, целых пятьсот и даже наделать их, если б не нашлось уже готовых. Как наделать? да очень просто: встретил человека, который знает грамоте и любит «читать книжки», да и попросил его написать повесть или драму. Тот сперва удивится, потом поломается, а там и согласится. Есть тысячи людей, которые, из денег или из чести видеть в печати свой портрет и свое сочинение, готовы пуститься в сочи-

нительство, даже и не зная грамоте...

Еще первый том «Ста русских литераторов» показал, что это издание предпринято без всякого плана, без всякого порядка. Кто попался первый, того и давай сюда, отчего и составилось общество, члены которого не могут довольно удивиться тому, как они сошлись вместе. Старые писатели смешаны с новыми, гениальные с бездарными, знаменитые с неизвестными, хорошие с плохими: Пушкин с г. Зотовым, Крылов с г. Каменским, Шишков с г. Веревкиным, г. Греч с г. Бенедиктовым и т. д. Но пусть старые писатели смешаны без толку с новыми и молодыми: это бы еще куда ни шло; нехорошо, но так и быть. Хуже всего то, что гениальность смешана с бездарностью, талант с посредственностью, знаменитость с неизвестностью. Конечно, не г. Смирдину взвешивать и сортировать литературные таланты; но все-таки ему следовало крепко держаться в этом отношении основания известности, репутации таланта. Спрашиваем его, ради каких причин г. Зотов попал в его сборник? Говорят, он написал несколько десятков томов; хорошо, но разве мало томов написал известный московский романист Александр Анфимович Орлов^[13], разве романы и повести его не расходились тысячами, и он не нашел себе многочисленной публики? Почему же его не видим мы в числе «Ста русских литераторов»? Или еще, может быть, в котором-нибудь из следующих томов мы будем иметь удовольствие встретить этого счастливого по таланту и славе соперника г. Зотова?.. Дай-то бог!..

Но шутки в сторону, а мы не можем понять, каким образом не понял г. Смирдин, что его издание наповал было убито соседством г. Зотова с Пушкиным? Пусть вспомнит он, что говорилось тогда в журналах, что говорила публика? Кто дал г. Смирдину роковой совет – включить г. Зотова в число ста русских литераторов?

Но одним ли этим убито это издание! Вот перечень литераторов, которых статьи и портреты помещены в *трех* томах «Ста русских литераторов»: Александров, Марлинский, Давыдов, Зотов, Кукольник, Полевой, Пушкин, Свиньин, Сенковский, Шаховской, Булгарин, Вельтман, Веревкин, Загоскин, Каменский, Крылов, Масальский, Надеждин, Панаев, Шишков, Бенедиктов, Бегичев, Греч, Марков, Михайловский-Данилевский, Мятлев, Ободовский, Скобелев, Ушаков, Хмельницкий. Прежде всего посмотрите: все ли из поименованных тут литераторов имеют право быть помещенными во «Ста русских литераторах» и всех ли их портреты любопытны для публики; потом: все ли они вовремя и кстати попали в эту книгу и, наконец, всех ли их статьи стоили напечатания? В то время, как вышел первый том «Ста русских литераторов», известность г. Александрова (г-жи Дуровой) была в полной ее апогее; теперь появление портрета и статьи этого писателя было бы несвоевременно, потому что, по причине быстрого хода нашей литературы и нашего общества, у нас многое скоро забывается; тогда же (1839) это было и вовремя и кстати; но статья^[14] г. Александрова «Серный ключ»

была больше чем слаба и не стоила печати. Статьи Марлинского – «Мулла-Нур» и «Мечь» и стихотворение «Сон» были из рук вон плохи; одна фразеология, надутая и напыщенная, без всякой примеси блесков таланта, которых не чужды были по крайней мере лучшие из прежних сочинений этого писателя. Портрет Давыдова был как нельзя лучше кстати и вовремя – вскоре после смерти этого даровитого и замечательного человека; статья его, при портрете – «Тильзит в 1807 году», была исполнена большого интереса и написана прекрасно. О г. Зотове мы сказали. Портрет г. Кукольника как нельзя больше был кстати и вовремя: опоздай он явиться годом, двумя, или, например, явись он теперь, в третьем томе этого издания, – и он не имел бы уже того интереса, потому что теперь г. Кукольник уже не надежда в будущем, как тогда был, отчего и прежние его труды получили теперь совсем другое значение, нежели какое тогда имели... Статья г. Кукольника «Иоанн-Антон Лейзевиц» – одно из лучших его произведений и читалась с большим удовольствием. Портрет г. Полевого не мог быть не интересен для русской публики, которой он оказал столько услуг, хотя уже в это время его слава была на ее повороте с апогеи. Повесть его «Дурочка» была как все его повести; может быть, для этого-то он и дал в эту книгу другую свою статью, более любопытную и дельную – «О бумагах и заметках, оставшихся по кончине Петра Великого в его собственном кабинете». О портрете Пушкина и его статьях – «Каменный гость» и «Одна глава

из неоконченного романа» здесь не место распространяться: первая превосходна, вторая интересна. Портрет г. Свинына решительно неуместен, потому что г. Свинын был, если хотите, литератором, но весьма незамечательным; поэтом же и беллетристом никогда не был, а сделался тем и другим по желанию г. Смирдина, который предположил принимать во «Сто русских литераторов» преимущественно повести, драмы и стихотворения. Удивительно ли после этого, что драма г. Свинына «Александр Данилович Меншиков» больше нежели плоха?.. Портрет г. Сенковского был кстати, а статья его отличалась обыкновенными достоинствами и недостатками этого писателя. Но портрет князя Шаховского опоздал годами пятнадцатью по крайней мере; он был бы на своем месте и не был бы лишним, если бы «Сто русских литераторов» были картинною и вместе историческою галереею русской литературы. Повестей князь Шаховской никогда не писал, и повести – совсем не его род; присовокупите же к этому, что в то время он был писателем, который уже давно и выписался и отстал от времени, – и вы сами поймете, какова была его повесть «Маруся»... И вот первый том, который, однако ж, все-таки был лучше второго.

Во втором томе помещен портрет Крылова и напечатана его басня «Петух и Кукушка»; как бы хорошо было для чести и успеха издания, если б портрет Крылова и его прекрасная басня попали в первый том... Портрет г. Булгарина был бы очень кстати в 1829 году, когда вышел в свет его «Иван Вы-

жигин». Повесть г. Булгарина «Победа от обеда» была лучшей повестью во втором томе «Ста русских литераторов»: до того плохи все остальные повести в этом томе!.. Портрет г. Вельтмана, конечно, был интересен для почитателей таланта автора «Кошья бессмертного», но повесть его «Урсул» очень неудачна... Каким образом зашел во «Сто русских литераторов» портрет г. Веревкина – не понимаем. Г-н Веревкин написал во всю жизнь свою две или три повести, довольно незначительные, в которых он, по – крайнему своему разумению, острит à la Барон Брамбеус и, как всякий подражатель, был ниже своего образца... Повести г. Веревкина (Рахманного) годились для журнального обихода, в свое время были перелистованы, да тут же и забыты, как забывается все, что не выходит за черту обыкновенности. Где ж тут право на знаменитость? Зачем публике был портрет г. Веревкина? Разве затем, чтоб она спрашивала: да кто же этот г. Веревкин и что такое написал он? Для разрешения этих вопросов публике оставалось только прочесть предсмертный рассказ г. Веревкина – «Любовь петербургской барышни», приложенный к портрету автора, – и публика в этом предсмертном рассказе ничего не нашла, кроме плоских острот дурного тона и напыщенных претензий посредственности. Портрет г. Загоскина опоздал целыми десятками годами; но все же это был портрет автора, имевшего в свое время большой успех и доселе пользующегося на Руси большою известностью, – и потому мы ничего не говорим

против помещения портрета его во «Сте русских литераторах»; жаль только, что повесть г. Загоскина «Официальный обед» была очень плоха. Портрет г. Каменского имел еще меньше права на появление во «Сте русских литераторах», нежели портрет г. Веревкина, потому что у последнего была по крайней мере хоть какая-нибудь способность писать. Пародист Марлинского, г. Каменский, оказал русской литературе одну только услугу: он своими повестями совершенно доконал славу своего образца, показав, как легко упражняться в этом ложном роде литературы, даже и не имея таланта, и, особенно, как смешон этот род. Повесть г. Каменского «Иаков Моле», по обыкновению сочинителя, написана была в высоком тоне, но, по обыкновению читателей, возбудила в них только смех. Но портрет г. Масальского имел еще менее права на место во «Сте русских литераторах», нежели портрет г. Каменского, потому что повести последнего чуть было не получили в Петербурге чего-то похожего на минутный успех, благодаря возгласам журнальных благоприятелей^[15], тогда как сочинения г. Масальского всегда засыпали в тишине и в глубокой тайне от публики, несмотря на двусмысленные, всегда умеренные и воздержные похвалы журнальных благоприятелей. Г-н Масальский, вместе с гг. Зотовым и Воскресенским, образует плеяду романистов средней руки, за которыми уже следует гг. Орлов (Александр Анфимович), Кузмичев, Славин, Б. Ф(Θ)едоров, Брант, Войт, Машков и другие. «Осада Углича», повесть г. Масальского, и «Дерево

смерти», его же стихотворение во втором томе «Ста русских литераторов», вполне могут служить вывескою бесталанности этого сочинителя. Портрет г. Надеждина попал в знаменитое число «ста» почти в то самое время, как этот литератор почти совсем сошел с литературного поприща: стало быть, нельзя сказать, чтоб некстати и не вовремя. Но г. Надеждин не иначе мог сделаться одним из ста, как написав повесть – условие *sine qua non!*² И г. Надеждин, повинувшись необходимости, написал повесть – «Сила воли», за которую да простит его Феб!.. Портрет знаменитого нашего идиллика г. Панаева (В. И.) опоздал с лишком *двадцатью* годами: его «Похвальное слово государю императору Александру» вышло в 1816 году, «Историческое похвальное слово светлейшему князю Голенищеву-Кутузову-Смоленскому» – в 1823; важнейшее же произведение его таланта, то есть «Идиллии», вышли в 1820 году. Впрочем, рассказ при портрете, «Происшествие 1812 года», не заключал в себе никакого особенно интересного происшествия и, надо признаться, далеко уступает в достоинстве не только знаменитым «Идиллиям», но и повести того же автора «Иван Костин», которая, помнится, была напечатана в образцовых сочинениях и пользовалась в свое время большою известностью. Портрет Шишкова опоздал целыми *тридцатью восемью* годами, потому что его пресловутое «Рассуждение о старом и новом слоге» вышло еще в 1803 году. Статья при портрете, «Воспоминание

² неперемнное условие (*лат.*). – *Ред.*

о моем приятеле», была написана уже одряхлевшею рукою, и притом *по случаю*, как à propos³ для портрета. Вот и второй том «Ста русских литераторов». – Перейдем к третьему. «Воспоминания о графе Милорадовиче», статья нашего военного Тита Ливия и Плутарха, генерала Михайловского-Данилевского, отличается сколько занимательностью содержания, столько и мастерским изложением. И кому бы из русских могли быть не интересны подробности о личном характере русского Баярда, рыцаря без страха и упрека, особенно когда эти подробности изложены живым и увлекательным пером воина-литератора, который давно уже приобрел себе в русской литературе значение классического военного писателя?.. Портрет схож и сделан превосходно^[16]. «Письмо чесменского инвалида на родину» (писано для солдат) принадлежит другому воину-литератору, который создал себе особый, свой собственный род литературы, скрыв от всех его тайну, почему и нет никакой возможности подражать ему, и который также создал себе свою особенную публику, которая не ухвалится, читая грамотки своего отца-командира^[17]. Жаль только, что «Письмо чесменского инвалида» не прочтут именно те, для кого оно написано: для них слишком дорога эта книга, да и большая часть в ней – все лишнее для них. Надобно было бы отпечатать эту статью еще отдельною книжкой.

Здесь, читатели, позвольте перевести дух: кроме этих двух

³ Здесь: повод (*фр.*). – *Ред.*

статей, есть в третьем томе «Ста русских литераторов» и еще статья, не столь важная, как две первые, однако ж удобная для чтения; но беда та, что до нее надо добираться через *пятнадцать* стихотворений – и каких еще: подумать страшно! – да через *шесть* больших статей в прозе, которые в достоинстве не уступят помянутым стихотворениям... Просто ужас!..

Г-н Бенедиктов снабдил свой портрет пятью стихотворениями. Посмотрим на них и начнем с первого.

Лебедь плавает на воде «в *державной* красоте», и у него завязывается с поэтом преинтересный разговор; г. Бенедиктов спрашивает его:

Что так гордо, лебедь белый,
Ты гуляешь по струям?
Иль свершил ты подвиг смелый?
Иль принес ты пользу нам?

Лебедь отвечает г. Бенедиктову, что он «праздно нежится в *водном хрустале*», но что он недаром «упитан гордым духом на земле», и именно вот почему:

Жизнь мою переплывая, (?)
Я в водах омыт от зла, (?)
И не давит грязь земная
Мне свободного крыла.
Отряхнусь – и сух я стану;

Встрепенусь – и серебрист; (?)
Запылюсь – я в волны пряну,
Окунусь – и снова чист.

Читатель, может быть, спросит, что значит «переплывать свою жизнь», и, пожалуй, не найдет смысла в этой фразе; может быть, также он не поймет, как можно омыться водой от зла кому-нибудь, а тем более лебедю, который, как животное, злу не причастен, а разве грязи, которую вода действительно имеет способность смывать; еще, может быть, читателю покажутся смешными последние четыре стиха, как риторическая стукотня пошлого тона, а второй стих непонятен; но мы советуем вам не быть слишком строгими и придирчивыми и не забывать, что ведь все это говорит птица, животное, которому простительнее, нежели людям, говорить вздор.

Далее, лебедь, видя, что г. Бенедиктов благосклонно слушает его болтовню и не останавливает его, – утверждает решительную нелепость, будто человек никогда не слыхивал лебединого крика (который поэты величают пением), на том основании, что

Лебединых сладких песен
Недостоин человек.

Вследствие сего обстоятельства он, реченный лебедь, и поет только для неба, да и то лишь в предсмертный час свой.

Но пение не мешает лебедю заблаговременно распорядиться своею духовною. Во-первых, он дает поэту «чудотворное» перо из своих «крылий»,

И над миром, как из тучи,
Брызнут молнии созвучий
С вдохновенного пера.

Теперь ясно, отчего одни поэты поют сладко, а другие так отвратительно: первые пишут лебединым пером, а вторые – гусиным. Конечно, если хотите, хороший поэт и гусиным пером будет писать недурно, но все не так, как лебединым, потому что, владея этим «чудотворным» орудием, он делается «певучим наследником» лебедя. *Avis aux poetes!*⁴ Потом лебедь завещает *для изголовья милой девы мягкий пух с мертво-остылой груди, в которой витал летучий дух!!*. И этому пуху дева, в немую ночь, вверит, из-под внутренней грозы, роковую тайну пламенной слезы,

И согрет ее дыханьем,
Этот пух начнет дышать.
И упругим колыханьем
Бурным персям отвечать.

Подумаешь, сколько хорошего может наделать один лебедь! А все отчего? – оттого, что он отряхнется – и станет

⁴ Совет поэтам! (*фр.*). – *Ред.*

сух; встрепетается – станет серебрист; запылится – и поскорей в волны; окунется – и как ни в чем не бывал! Оттого он и песни поет небу и перо дарит поэту, а пух – красавице! А затем... но пусть он вам сам скажет, что будет с ним затем; он так хорошо говорит, что хочется и еще послушать его:

Я исчезну, – и средь влаги, —
Где скользил я, полн отваги,
Не увидит мир следа;
А на месте, где плескаться
Так любил я иногда,
Будет тихо отражаться
Неба мирная звезда^[18].

Но что же из всего этого? какой результат, какой смысл, какая мысль, какое, наконец, впечатление в уме читателя? Ничего, ровно ничего, больше чем ничего – стихи, и только, а к ним хорошенькая картинка, ландшафт – деревья, зелень, вода, лебедь... Чего ж вам больше? Не все же гоняться за смыслом – не мешает иногда удовольствоваться и одними стихами.

Однажды, в поэтическую минуту, внимание г. Бенедиктова привлекла —

От женской головы *отъятая* коса,
Достойная любви, восторгов и стенаний,
Густая, черная, сплетенная в три грани,

Из страшной тьмы могил *исшедшая* на свет
И не измятая под тысячами лет,
Меж тем как *столько кос* (,) с их *царственной* красою,
Иссеклось времени нещадною *косою*.

Надо согласиться, что было над чем попризадуматься, особенно поэту! Не диво мне, говорит г. Бенедиктов, что диадимы не гниют в земле:

В них рдело золото – прельстительный металл!
Он время соблазнит, и вечность он подкупит —
И та ему удел нетления уступит.

Эта удивительная фраза о соблазне времени и подкупе вечности золотом, как будто бы время – женщина, а вечность – подьячий, – эта несравненная фраза дает надежду, что г. Бенедиктов скажет когда-нибудь, что гранит и железо запугивают или застрашивают время и вечность: и эта будущая фраза, подобно нынешней, будет тем громче и блестящее, чем бессмысленнее. Итак, не удивительно, что золото не гниет в земле; но как же коса-то уцелела?

Ужели и она
Всевластной прелестью над временем сильна?
И *вечность жадная* на этот дар прекрасный
Глядела издали с улыбкой сладострастной?

Час от часу не легче! Вечность доступна обольщению,

подкупу! вечность сладострастна! Какая негодница!.. Но что ж дальше? – Дальше общие места по реторике г. Кошанского: где глаза этой косы, которые сводили с ума диктаторов, царей, консулов, мutilи весь мир, в которых был свет, жизнь, любовь, душа, в которых «*пировало бессмертие*» (?!?!..) и т. п. Где ж они?

И тихо выказал *ослабленный* скелет
На желтом черепе два страшные провала^[19].

Откуда же взялся череп? Ведь дело о косе, «*отъятой от женской головы*»? Подите с поэтами! Спрашивайте у них толку!..

В третьем стихотворении г. Бенедиктов бранит толпу, и, надо сказать, довольно недурно, если б только он поостерегся от персидских метафор, вроде следующих: «*полотно широкой думы* пламенеет под краской чувства», «гром искрометной рифмы» и т. п. вычурностей пошлого тона^[20]. В четвертом стихотворении г. Бенедиктов рассказывает нам, как невинно и духовно взирает он на грудь «девы стройной»,

Любуясь красотой сей *выси* благодатной,
Прозрачной, трепетной, двухолмной, двураскатной.

.....

Он чувство новое в груди своей питал:

Поклонник чистых муз – желаньем не сгорал
Удава кольцами вокруг милой обвиваться,
Когтями ястреба в пух лебедя впиваться^[21].

Какие сильные и, главное, какие изящные и благородные образы!..

Нельзя не согласиться, что г. Бенедиктов – поэт столько же смелый, сколько и оригинальный. У него есть свои поклонники, и мелкие рифмачи даже пишут к нему послания стихами, в которых не знают, как и изъяснить ему свое удивление^[22]. Нашелся даже критик, который поставил его выше всех поэтов русских, не исключая и Пушкина...^[23] Само собою разумеется, что предмет поклонения всегда бывает выше своих поклонников; а так как почитателей таланта г. Бенедиктова даже и теперь тьма-тьмущая, то и нельзя не согласиться, что г. Бенедиктов есть в своем роде замечательное явление в русской литературе, как были в ней замечательны, например, Марлинский и г. Языков^[24]. Конечно, подобная «замечательность» ненадежна и недолговременна, но все же она имеет свое значение, потому что основана не на одном только дурном вкусе эпохи или значительной, по большинству, части публики, но также и на таланте своего рода. Но мы уже не раз говорили, что есть таланты, которые служат искусству положительно, и есть другие, которые служат ему отрицательно; произведения первых приводятся эстетиками, как примеры истинного и правильного хода искусства;

произведения вторых служат для примеров ложного и фальшивого направления искусства. Это бывает не с одними лицами, но и с народами: для образцов изящного вкуса смело пользуйтесь греками; для образцов дурного вкуса смело обращайтесь к китайцам и у последних берите только лучших художников и лучшие произведения. Муза г. Бенедиктова оригинальна, и муза Пушкина оригинальна; но какая между ними разница, уж не говоря о чудовищном неравенстве в таланте? Муза Пушкина – то древняя статуя, целомудренно-нагая, то женщина-аристократка, пленяющая достоинством языка и манер, изящною простотою наряда. Муза г. Бенедиктова всегда – женщина средней руки, если хотите, недурная собою, даже хорошенькая, но с пошлым выражением лица, бойкая, вертлявая и болтливая, но без грации и достоинства, страшная щеголиха, но без вкуса; она любит белила и румяна, хотя бы могла обходиться и без них, любит пестроту и яркость в наряде и, за неимением брильянтов, охотно бременит себя стразами; ей мало серег: подобно индийской баядере, она готова носить золотые кольца даже в ноздрях. Все это относится только к *выражению* в поэзии г. Бенедиктова; что же касается до ее *содержания*, – с этой стороны она тем беднее, чем больше претендует быть богатою. Что многим кажется избытком мыслей в поэзии г. Бенедиктова, то не *мысли*, а *рефлексия*; рефлексия же относится к мысли, как резонерство к мышлению, умничанье к уму, толстога к величию, надутость к высококости, сентиментальность

к чувству, бравада к храбрости. Разложить стихотворение г. Бенедиктова на составные элементы, пересказать его содержание из него же взятыми и нисколько не измененными фразами – всегда значит обратить его в пустоту и ничтожество. Во всяком случае, повторяем, г. Бенедиктов – замечательное явление в нашей литературе, и мы очень рады, что его поэтическая физиономия воспроизведена во «Сте русских литераторах» с тою верностью, за которую поручится каждый, кто даже и никогда не видал его, но читал его произведения.

Статья г. Греча «Гейдельберг» (*Ф. В. Булгарину, ответ на его «Tutti frutti»*⁵) могла бы нас очень удивить, если б мы могли еще чему-нибудь удивляться в русской литературе, – особенно во «Сте русских литераторах»^[25]. Но сперва о г. Грече, не как о лице, а как о литераторе, а потом уже и о статье его. Литературная деятельность г. Греча разделяется на три эпохи: в первой, от 1812 (а может быть, еще и раньше) до 1831 года, он является преимущественно грамматистом, составляет огромные грамматики, пишет о грамматике, хлопочет о русском языке^[26], во второй, от 1831 до 1836, он делается романистом, начав с довольно плохого рассказа – «Поездка в Германию» и кончив довольно плохим романом – «Черная женщина». С тех пор и до сего времени он по преимуществу турист^[27]. В промежутках он издавал «Сын отечества» и «Северную пчелу»^[28] и, по уверению «Библиотеки для чте-

⁵ «Всякая всячина» (*ит.*). – *Ред.*

ния», прочел в корректуре всю русскую литературу; кроме того, в 1840 году читал публичные лекции, в которых был «взгляд и нечто»^[29] насчет русской грамматики и литературы, преимущественно же современной журналистики, которою тогда этот почтенный ветеран нашей словесности имел причины быть недовольным. Какая неутомимая и многосторонняя деятельность! Около (а может быть, и больше) *тридцати пяти* лет печатается этот человек, не старея, а все обновляясь и молодея! О портрете г. Греча никак нельзя сказать, чтоб он поздно попал во «Сто русских литераторов». Может быть, поздно как портрет грамматиста, как журналиста, как романиста, как лектора, но отнюдь не поздно как туриста: если давно забыты его прежние письма из-за границы, он напоминает о них нынешними, говоря в них почти то же самое и совершенно также, что и как говорил в прежних. Теперь он уже ни о чем больше не пишет, как только о своих путешествиях. На этот раз он знакомит нас с Гейдельбергом. Между прочим, он говорит о Гейдельбергском университете и за новость рассуждает об известном ученом творении Крейцера – «Символике», десять томов которого выходили с 1810 по 1820 год^[30]. Оно хоть и не ново, а все бы интересно, если б наш турист мог сказать об этой книге что-нибудь больше того, что может сказать о ней всякий, никогда ее не читавший. Но вот самое интересное и живописное место из статьи о Гейдельберге:

Климат в Гейдельберге теплый и здоровый. Лето,

к сожалению, обыкновенно дождливое. Такова участь долин; тучи дождевые, забравшись между гор, не скоро их оставляют. Но весна и осень здесь несравненные! Могу сказать, что в нынешнем 1844 году я впервые от роду узнал, что такое весна. У нас на севере это время неизвестно: весною называем мы переход от холодной зимы к сырому лету.

Жизненные припасы, квартира, услуга – все это в Гейдельберге чрезвычайно дешево. Цены хлеба, овощей и проч. зависят от урожая: при первой возможности они упадают. Это не так, как в иных местах, где цены, поднявшись однажды, редко спускаются, как бы ни были благоприятны обстоятельства.

Словом, жизнь здесь самая тихая, приятная, привольная. Сто раз благословлял я доброго доктора Гейне, который присоветовал мне избрать Гейдельберг местом жительства и лечения детей моих. Прекрасный климат, тихая, регулярная жизнь, попечения искусных врачей – восстановили их здоровье и преисполнили мое сердце искреннею благодарностью к здешнему несравненному краю и почтенным его обитателям.

Нельзя не согласиться, что все это так же интересно для русской публики, как и для г. Булгарина, к которому адресована статья.

За г. Гречем следует г. Мятлев с целым десятком стихотворений одно другого хуже. Г-н Мятлев вышел на литературное поприще с книжкою преплохих стихотворений под названием: «Друзья уговорили». Этой книжки никто не

заметил, кроме друзей сочинителя. Потом г. Мятлев вдруг прославился «Сенсациями мадам Курдюковой», сочинением, которое в небольших дозах могло быть читано в обществе знакомых людей, к их удовольствию, но которое в печати не имеет никакого значения, кроме скучной и довольно плоской книги^[31]. Что касается до мелких стихотворений г. Мятлева, – те из них, в которых он думал смешить смесью французских фраз с русскими, так же скучны и плоски, как и «Сенсации»; а те, в которых он думал воспевать высокие предметы, как в «Разговоре человека с душой», очень смешны. Все это не доказывает прав г. Мятлева ни на звание литератора, ни на место между «ста», – и нам, право, жаль издания г. Смирдина, которое решилось принять в себя такую, например, пьесу г. Мятлева, как «Спор за вафли», которую, курьеза ради, выписываем вполне:

Приехал в *Красенькой* гулять
Портной, из немцев,
Бутгер-Фрессер;
Спросил он: габель, лефель, мессер
И вафли приказал подать.
Садится и глядит умильно
И в мыслях ест уже *мейн гер!*
Как вдруг вбегает офицер
И вафли выхватил насильно.
– Чей это вафля, узнавать
Позвольте, гаспадин военный?

- Ну, знать, твоя, мусье почтенный,
Что вздумал за нее стоять?
- А если мой, могу ль их кушаль? —
Сердито немец закричал.
- Что, что, мусье? я не расслушал.
- Могу ль их кушаль? я сказал.
- Ну, не сердись, сейчас другие
Я прикажу тебе подать. —
Но немец в спесь вошел такую,
Что раскричался не в себя.
- Здесь все равно! Ваш не забудет,
Здесь ваш польтин и мой польтин?
Здесь это все один польтин.
- Врешь, немец, рубль уж это будет!
- Нет, сами *рубль* вы, гаспадин!
Что вы задумал? – Забияка!
Я ваш маркель иль человек! —
Нет, нет, нет, я не человек!
– Что ж, немец, что же ты? собака?

Остроумно и изящно, нечего сказать! Не понимаем одного: где сочинитель видел таких офицеров, если не во сне?.. И все-то стихотворения г. Мятлева похожи на этот спор за вафли, за исключением разве «Разговора барина с Афонькою», который действительно хорош, и то потому, впрочем, что не сочинен г. Мятлевым, а списан им со слов какого-нибудь Афоньки, – почему и отличается тем особенным юмором, который так свойствен людям этого сословия, когда они

рассуждают о барах.

Портрет г. Хмельницкого нельзя сказать, чтоб вовсе не имел права на помещение между «ста»; но он опоздал более чем двадцатью годами. В свое время г. Хмельницкий пользовался большою известностью как драматический писатель. Вот его труды: «Зельмира», трагедия в 5-ти актах, перевод с французского (1811 года); «Шалости влюбленных», комедия в 3-х актах, из Реньяра; «Говорун», комедия в 1-м акте, из Буаси; «Школа жен», комедия в 5-ти актах, из Мольера; «Весь день в приключениях», опера в 3-х актах; «Греческие бредни, или Ифигения в Тавриде наизнанку», пародия-водевиль в 3-х действиях, из Фавара; «Бабушкины попугаи», водевиль в 1-м акте; «Суженого конем не объедешь, или Нет худа без добра», водевиль в 1-м действии. Все это, – или переводы, или переделки, и большею частию в стихах. Оригинальные сочинения: «Воздушные замки», комедия в 1-м акте; «Семь пятниц на неделе, или Нерешительный», комедия в 1-м акте; «Карантин», водевиль в 1-м акте; «Актеры между собою, или Первый дебют актрисы Троепольской», водевиль в 1-м акте, писанный в сотрудничестве с г. Всеволожским. Все это было недурно; особенно старался г. Хмельницкий о чистоте стиха; но теперь стих его так же устарел, как забыты все его сочинения, и самое имя его чуждо современной русской литературе. Желая, как видно, во что бы ни стало напомнить о себе и занять место в числе «ста», г. Хмельницкий решился написать *поморский рассказ* – «Мундир»; но

рассказа у него как-то не вышло, хотя и рассказывал он, как умел. Сначала читатель чего-то ожидает от этого рассказа, потому что начинается довольно интересными подробностями об Архангельске и Коле; но автору не хотелось ограничиться интересными очерками, написанными без претензии, и он предпочел написать плохую и скучную повесть без завязки и развязки, без интриги, исполненную отсталого юмора и запоздалого целыми двадцатью годами остроумия.

Осилив кое-как тощий изобретательностью и интересом рассказ г. Хмельницкого, усталый и сонный читатель встречает чудовище, гору, слона... словом, стопудовую драматическую поэму в пяти отделениях, с прологом, г. П. Ободовского – «Князя Шуйские». Извлечение из этого семимильного произведения было играно на Александрийском театре под именем «Царя Василия Ивановича Шуйского». Поэма эта доказывает, до какой степени совершенства может выработаться посредственность: в этой поэме все так гладко, чинно, ровно, ни умно, ни глупо, ни худо, ни хорошо; язык ее вылощенный, выглаженный, накрахмаленный; стих вялый, без жизни, без красок, без музыкальности, без оригинальности, но обделанный, обточенный, выполированный. Мудрено ли выучиться перелагать в разговоры «Историю» Карамзина, дополняя ее то марлинизмом, то изобретениями в духе романов гг. Зотова и Воскресенского; создавать образы без лиц, персонажи без характеров – эти общие места бездарного драматизма? Мудрено ли наострить писать такие

стихи, которые – совершенно проза, пошлая, водяная проза, и в то же время все-таки стихи? – Судите сами:

Народ опомнился: доверие к царю —
Основа прочная, подпора государства,
Вселяется в сердца, надолго ли? Бог весть!
Поветрие измен и мятежей народных
Еще тлетворно веет на Москву.
Еще из Тушина не выжит самозванец,
Марина низкая, Рожинский атаман
И паны польские и – срам для нашей чести —
Бояре русские роскошничают там.
И Тушино в Самбор Марина превратила:
Там день и ночь пируют стар и млад;
Там шпорами брячат при музыке варшавской,
Там вечный хоровод и игры на лугу,
Там русские князья, как скоморохи, пляшут,
Пред полькой чванною сгибаются в дугу,
Обедают в Москве, а в Тушине ночуют.
Из думы царственной к Марине на банкет,
И перелетами слывут они в столице!
Позору нашему в веках примера нет!

«Сия огромная» поэма занимает собою *двести десять* страниц в 8-ю долю листа... Страшно!

За поэмою г. Ободовского следует повесть г. Бегичева (разумеется, с его портретом) – «Записки губернского чиновника». Чем известен в русской литературе г. Бегичев, что такое

написал он, что бы давало его портрету право явиться между знаменитыми «ста», – не помним, не знаем... Неужели «Записки губернского чиновника» так хороши, что одной этой пьесы было достаточно г. Бегичеву для приобретения литературного имени? – Не думаем... Но – позвольте! – кажется, были слухи, что г. Бегичев – автор романа «Семейство Холмских». Несмотря на то, что это роман дидактический, «нравоучительным и длинный»^[32], немножко сентиментальный, немножко резонерский и нисколько не поэтический, – он имел, в свое время, довольно значительный успех, благодаря живому чувству негодования против разного рода злоупотреблений, – чувства, которое играет в означенном романе не последнюю роль. После этого появлялось, от времени до времени, несколько статей, довольно плохих, на заглавии которых было выставляемо: *сочинение автора «Семейства Холмских»*. Но все-таки мы не имеем никакого права печатно признать г. Бегичева автором «Семейства Холмских», потому что он сам нигде еще не признавался в этом. Притом же, если б г. Бегичев был действительно автор этого романа, г. Смирдин, как издатель «Ста русских литераторов», непременно, при имени г. Бегичева, выставил бы заветное: *автора «Семейства Холмских»*, чтоб оправдать помещение в этой книге портрета и статьи г. Бегичева. Тогда мы ничего не могли бы сказать против этого портрета, кроме разве того, что он запоздал с лишком десятью годами; но как г. Смирдин не объявил г. Бегичева автором «Семей-

ства Холмских», то мы и принуждены увидеть в «Записках губернского чиновника» единственное право г. Бегичева на звание литератора^[33]. По этой причине мы с особенным любопытством и вниманием прочли эту повесть если уже совсем не молодого человека (судя по портрету), но только что выступающего на поприще литературы. Но тут нашему удивлению не было конца... Великий боже! что это такое? Не перевод ли с китайского? В последнем нас особенно утверждает то, что нравы этой повести – чисто китайские, а если не китайские, то уж никакие, и таких нравов нигде нельзя найти. Судите сами. К губернскому предводителю съехались на бал чиновники; недоставало только губернатора. В ожидании этой важной особы, до появления которой бал никак не мог начаться, – чиновник, которого записки составляют эту повесть, вместе с каким-то г. *Радушиным* и еще несколькими мандаринами низших степеней, то есть несколькими чиновниками низшего разряда, в диванной у матери хозяина дома предался назидательному разговору о суде и позорной отставке некоего *Скорпионова*, страшного негодяя и злодея, как это можно видеть даже и из его фамилии. Чем дальше в лес, тем больше дров. Разговор мало-помалу начал принимать философское направление; собеседники начали решать психологический вопрос, мог ли Скорпионов считать себя хорошим человеком, будучи мерзавцем. Спорили, но ничего не решили (а его превосходительства, господина губернатора, все еще нет как нет); наконец Радушин (прекрасней-

ший человек, как это показывает его фамилия) предлагает рассказать историю Скорпионова, чтоб доказать, что он мог иметь право считать себя чуть не героем добродетели. Разговор, в ожидании губернатора, тянулся на *одиннадцати* страницах; рассказ Радушина занял *двадцать восемь* страниц и все еще не был кончен, потому что его прервал приезд губернатора, – и тогда чиновник, из записок которого состоит статья г. Бегичева, поспешил, с картою в руке, – положение, в котором он и говорил и слушал, – составить его превосходительству партию в вист, а конец истории он уже после дослушал от Радушина. Что Радушин благонамеренный чиновник и прекраснейший человек, – в этом, судя по его фамилии, нет никакого сомнения; но рассказчик он преплохой, пребездарный. В его рассказе не только нет ни характеров, ни образов, ни лиц, но даже и вероятности, хотя он рассказывает и о самых обыкновенных вещах. Есть же ведь люди, которые не умеют порядочно рассказать о том, как они поколотили своего Ваньку или Сеньку: дело, кажется, самое простое и случается частенько, а ничего не поймешь – как, за что, почему, больно ли и т. п. Чтоб утешить своего слушателя за такую повесть, г. Радушин дал ему записку – «Мысли о постепенном искоренении лихоимства». «Эту записку, – говорит он, – составил покойный мой отец, бывший здесь губернским предводителем, и я храню ее, как драгоценнейший для сына памятник». Но добрый сын может быть плохим рассказчиком, а хороший отец может быть плохим мыс-

лителем. Не удивительно, что записка вышла еще хуже повести. В ней за новость открывается, что для искоренения лихоимства необходимо, между прочим, достаточное жалование чиновникам. Справедливо, но старо, а потому и бесполезно! Вместо этих обветшалых истин лучше было бы сочинить дельную записку или о том, где и как найти денег на увеличение жалования, или о том, как бы найти способ питаться и одеваться воздухом и строить из него дома. Это было бы тем лучше, что у нас воздух всем дается даром, а не обкладывается налогами, как в Англии. В заключение всего нельзя не поздравить г. Смирдина в приобретении такой бесподобной статьи, как «Записки губернского чиновника»...

Но вот и еще незнакомец предстает перед нами – какой-то г. Марков. Кто бы это такой был? Что он писал, где, когда, для кого? А что-то как будто помнится... Позвольте – надо прибегнуть к архиву старых журналов... Так точно; глаза нас не обманывают: г. Марков не только писал повести, но еще и помещал их в 1835 году в лучшем русском журнале того времени, в «Библиотеке для чтения», а потом, в 1838 году, издал их отдельно.

Так как эти повести забывались в ту же минуту, как прочитывались, а за десятилетнею давностью забыт и самый факт их существования, то мы считаем обязанностью напомнить о них русской публике, чтоб она знала, почему у нас даже только теперь имеется в наличности целая сотня лите-

раторов.

В одной повести г. Маркова, помещенной в «Библиотеке для чтения» и названной «Беда, если б не медведь», описывается одна капитанша, которая раз напилась пьяна шампанским и натерла себе щеки мастикою собственного изображения, растворенною в меду. У ее любовника, майора Фрола Силыча Торопенко, с которым она жила в одном доме, был ручной медведь. Вдруг капитанша закричала: «Спасите! умираю!» На крик ее сбежалась толпа и между прочими ротмистр Рамирский, влюбленный в падчерицу капитанши, «прелестную Марию», – и что же представилось глазам всех? – «Одна из любопытнейших сцен частной жизни (говорит г. Марков). Медведь, привлеченный медовым запахом мастики, изволил облапить Дарью Климовну и прехладнокровно облизывал ее тучные ланиты». Рамирский бежит в комнату Марии за своими пистолетами и видит, что Мария хочет застрелиться; выхватив у ней пистолеты, он освобождает Дарью Климовну от медведя, застрелив его и сперва взяв с нее слово, что она согласится на его брак с Мариєю. В этой же повести, описывая петергофский праздник и заметив, что в этот день в Петергофе заняты людьми даже щели, г. Марков говорит: «Я хотел однажды описать, что делается в этих щелях, но мне сказали, что все это уже описано Поль де Коком». И потому г. Марков ограничился только остроумным описанием следующего случая: дворник, намазав клестером заднюю сторону билета, чтоб приклеить его к воро-

там, так и оставил его на скамейке, а сам отлучился. В это время Дарья Климовна, не посмотрев на скамейку, присела на ней отдохнуть, и, когда она встала и пошла, то сзади, на ее платье, очутился билет с надписью: «Сия квартира отдается». Вот каков юмор г. Маркова, одного из ста русских литераторов!.. В другой его повести какая-то толстая барыня едет с дочерью в театр; над ее ложею пьют сивуху, разбивают штоф – водка течет на голову толстой барыни; в театре шум, тревога. Потом у толстой барыни увозят дочь, она ищет ее по всему городу, в полночь заезжает в трактир, попадает в погреб – следуют сцены, очень забавные для публики известного разряда. Словом, грязь по колена, и запах такой спиртуозный, от которого порядочный читатель легко может схватить насморк! Но г. Марков не только юморист, он еще и марлинист и стихотворец. В его книжке «Мечты и были» есть трагическая повесть «Евгения», о которой мы умалчиваем (так как предстоит говорить о таковой же марлинщине, помещенной г. Смирдиным в 3-м томе «Ста русских литераторов»), и есть стихи. Удивительные стихи! Например, в «Думе о Пушкине» г. Марков говорит, что этот поэт уже

Не заколдует звуков властью,
Не поцелует сердца страстью,
Не заклеит мечтою ум!

Не правда ли, что очень хорошие стихи?.. Но этим еще не оканчивается разнообразие литературных подвигов г. Мар-

кова: он еще сочинил трагедию «Александр Македонский», которая, к сожалению, не была напечатана, но, к счастью, была дана на Александрийском театре. В этой драме – все колоссально, особенно нелепость. Лучше всего в ней – изобретение *пажей* и *турецкого барабана* во времена Александра Македонского...

Из всего этого читатели сами легко могут усмотреть, до какой степени неоспоримы права г. Маркова на почетное место между стами русскими литераторами. Обращаемся к «Пинне», повести г. Маркова, попавшей во «Сто». Пламенный поручик влюбился в молодую вдову, графиню Пинну. Уезжая в отпуск, он был уже с нею на короткой ноге и говорил ей «ты», но, как видно из разговора, состоял еще в глупом звании платонического обожателя. Пинна была удивительно хороша. Послушаем самого сочинителя:

Пинна была одной из тех женщин, у которых волосы трещат от электричества и сыплют огонь; ей минуло двадцать шесть лет и не казалось менее; она была очень полна; но какая очаровательная полнота! – Строгая нравственность не могла видеть графини в бальном платье: одного ее плеча было довольно, чтобы самые холодные глаза подернулись влагой удовольствия. Как же описать собственные глаза Пинны? Сказать, что они были огненные, большие, черные, осененные прекрасными ресницами, это значит ничего не сказать! Скорее можно было их уподобить *бездонному омуту*, в котором равно погибали и веселость беззаботного

юноши, и деятельность опытного мужа, и слабеющий рассудок старика. Ни кисть, ни карандаш не могли схватить ни одной черты с правильного лица Пинны: неуловимое, оно могло назваться *осуществленным лексиконом всех душевных ощущений*. Розовые губки графини рождали невольно идею о блаженстве поцелуя и заключали в себе непонятную власть одним движением *леденить и плавить, мертвить и воскрешать* влюбленное сердце; их выражение с непостижимой быстротой и ясностью обличало все оттенки гнева и милосердия, любви и презрения и часто в одно мгновение превращалось *из ядовитой, насмешки, фуриш, в простодушную улыбку ангела*. Зная Пинну, почти страшно было мечтать о прелести ее объятий: она дышала *знгом аравийского неба*. Знала ли, наконец, сама эта всемогущая жрица любви неисчерпаемое наслаждение обоюдной страсти? – Нет! – И, может быть, потому – нет, что не нашла предмета, который бы не сотлел в ее жгучих объятиях, который бы сам дохнул бурей Везувия на эту клокочущую Этну (стр. 468)^[34].

И вот оттого-то, что не нашлось предмета, «который бы сам дохнул бурей Везувия на эту клокочущую Этну», эта «клокочущая Этна», в отсутствие пылающего поручика, хочет выйти за одного преглупого, но богатого помещика с огромным брюхом. Когда кипящий поручик воротился из отпуска, Этна плясала на балу. Тогда Везувий послал денщика на кладбище, чтоб тот вырыл ему могилу, а сам от-

правился в дом клокочущей Этны и подкупил ее горничную, которая и поместила Везувия в спальне Этны, между стеною и шкафом. Этна воротилась домой, раздеваясь, назвала Везувия мальчишкою (в чем и не ошиблась) и легла спать. Тогда Везувий схватил Этну за руку, произнеся *гробовым* голосом: «Вставай, недоступная красавица, я пришел за тобою...» Страшно, читатели, не правда ли? Не беремся передать всех надутых фраз, всей гробовой чепухи, которую молот Везувий Этне; но вот для образчика: Этна говорит: «Но куда? и зачем?» Везувий отвечает: «На кладбище, жизнь моя, на кладбище: там я уже велел приготовить нам ванну широкую, прохладную... а пилюли со мною; вот они тут, их не видно в этих железных трубках, но они, право, тут!.. Пойдем же в мою роскошную ванну, засядем в нее, примем сперва по одной штучке из этих трубок, только по одной! и потом отдохнем в ванне... долго... долго...» Бррр!.. Страшно!.. Но не бойтесь за Этну: ее вовремя вырвал из рук Везувия другой, ротмистр; она скоро оправилась и вышла замуж, а Везувий умер от воспаления в мозгу, который у него давно уже был в расстроенном положении: единственная причина, почему он в продолжение всей повести говорил книжными и надутыми фразами а la Марлинский... Когда же он умер, на свете стало одним глупцом меньше – единственная отрадная мысль, которую читатель может вынести из этой галиматьи!..

Портрет покойного Ушакова был бы совершенным сюрпризом для русской публики, если б только он не опоздал

пятнадцатью годами и если б приложенная к нему повесть хоть сколько-нибудь могла объяснить своим достоинством необходимость и смысл этого неожиданного появления с того света. Г-н Ушаков приобрел себе известность повестью в двух томиках – «Киргиз-кайсака», изданною, кажется, в 1831 году; а до тех пор он был известен только в литературном кругу своими статьями о театре, исполненными грубой журнальной брани и плоскими остротами на ложнославянском языке^[35]. «Киргиз-кайсака» теперь нет никакой возможности перечесть; но это происходит не столько оттого, чтоб в этом произведении вовсе не было таланта и хотя относительного достоинства, сколько оттого, что наша литература и вкус нашей публики с тех пор быстро подвинулись вперед. Мы уже не раз имели случай замечать, что до Гоголя нашим романистам и нувеллистам было легко быть талантливыми, по крайней мере в тысячу раз легче, нежели теперь. Но как бы то ни было, все же успех, разумеется, неподготовленный и неподкупленный, всегда есть признак силы в известной степени, следовательно, всегда – заслуга и право на внимание; а «Киргиз-кайсака» пользовался непродолжительным, но тем не менее замечательным успехом, так что, если б вышло второе издание этой повести с портретом автора, портрет был бы там очень кстати. Другие сочинения г. Ушакова доказали, что у него достало дарования только на одну эту повесть: последовавшие за нею сочинения были одно другого бесталаннее, одно другого уродливее. Помещен-

ная в третьем томе «Ста русских литераторов» повесть его «Хамово отродье» (картина русского быта) – верх бездарности, дурного тона, скуки, вялости, растянутости и пустословия. Беспутно воспитанного дворянчика обворовывает его лакей, которого в детстве нещадно пороли за шалости барина. Дворянин промотался и его имение перешло в руки его же холопа, который сумел сделаться чиновником. Сын этого холопа, непричастный грехам отца и воспитанный гораздо лучше, нежели был воспитан барин его отца, во время нашествия Наполеона переходит в службу неприятеля, сражается против русских и потом зло погибает, как подобает изменнику, – погибает не от презрения общественного, а от ран... И между тем он был, по словам сочинителя, не зол, не развратен, не порочен: вся беда вышла, во-первых, от холопской крови, во-вторых, оттого, что строгому правосудию морального сочинителя необходимо было погибелью сына наказать преступления отца. Между тем сын промотавшегося дворянчика выиграл в Париже в рулетку более полутора тысяч франков, в оправдание мудрого правила, что добродетель награждается, – дал себе клятву больше никогда не играть и быть добродетельным; потом выкупил наследие своих благородных предков и зажил на славу. Все это рассказано нескладно и растянуто; рассказ начинается с яиц Леды^[36] и тянется с отступлениями, рассуждениями, эпизодами, так что сам сочинитель не раз обращается к своим читателям с советом – не читать, если скучно. По своему обыкновению,

он не утерпел, чтоб не вставить в рассказ плохого диспута о классицизме и романтизме, о которых он хлопотал во все время своего сочинительства, не понимая их...

Но позвольте дух перевести! Мы прошли через восемь песчаных степей, на которых ни деревца, ни былинки, ни капельки росы... Есть от чего устать!.. Чтоб вознаградить нас за это, г. Смирдин даром дает, или, лучше сказать, придает нам статью своего исключительного автора, Барона Брамбеуса. В самом деле, имя Барона Брамбеуса неразлучно с именем г. Смирдина; оба они поднялись в одно время и в одно же время оба потерпели расстройство – один в своих финансовых обстоятельствах, другой – со стороны своего таланта и своей авторской знаменитости... Увы! Барон и в самом деле уже не тот, что был, может быть, оттого, что теперь не та уже стала русская публика... Оно, если угодно, все еще потешно, но уж местами только, а в общем скучно и плоско. Повесть называется «Микерия, Нильская лилия» (перевод древнего египетского папируса, найденного на груди одной мумии в фивских катакомбах). Содержание ее – известный египетский анекдот о сыне архитектора, который обокрал сокровищницу фараона, выручил труп своего брата, обманул дочь царя и потом, за свои мошенничества, женился на ней. Мимоходом излагается египетская мудрость, танцующая у Барона Брамбеуса польку. В августовской книжке «Библиотеки для чтения» вот что, между прочим, сказано о статье Барона: «Теперь вопрос состоит в том, как мудрым

читателям понравится эта метода превращать в шутки самые темные задачи древней космогонии, самые спорные статьи таинственной науки жрецов о бытиях (entia) и числах». Мы думаем, что эта шутовская метода не понравится мудрым читателям. Наука с погремушкой в руке и шутовским колпаком на голове – не наука, а гаерство. Всему есть свое место и свое время: на бале веселятся и пляшут, на похоронах плачут или хранят важное молчание; перемените наоборот – и выйдет отвратительно. Кто наделен даром остроумия, тот может найти широкий разгул своему таланту и не паясничая во храме науки. Далее в «Библиотеке для чтения» сказано: «В глазах некоторых важных мужей, *почитающих скуку драгоценнейшим достоянием учености*, это может составить ужасное преступление; но Барона Брамбеуса давно уже обвиняют в том, что охотник *сочинять шутку*: так уж один лишний грех – для него не в счет»^[37]. Плохое оправдание! Кто хочет знать, для того наука не скучна и без фиглярства, и он требует только, чтоб ее предметы излагались сколько можно яснее; для кого же наука скучна без пляски вприсядку, тот не достоин знать что-нибудь... Впрочем, потешная сказка Барона Брамбеуса местами действительно потешна, а после несравненных и невероятных произведений гг. Бенедиктова, Греча, Мятлева, Хмельницкого, Ободовского, Бегичева, Маркова, Ушакова она перелистывается не без удовольствия, особенно с пропусками. Рисунки явно сочинены Бароном, хотя в них и сохранен тип и стиль египетских иеро-

глифов.

Итак, вот мы пересмотрели два первые тома и внимательно рассмотрели третий том «Ста русских литераторов»: что же нашли мы в них? – В первом томе два портрета совершенно лишние и неуместные (гг. Зотова и Свиньина); при двух портретах (г. Александрова и Марлинского) плохие статьи. Во втором: три портрета (гг. Каменского, Веревкина и Масальского) совершенно излишние и неуместные; четыре портрета (гг. Булгарина, Загоскина, Панаева, Шишкова) запоздалые, а, за исключением Крылова, девять портретов с плохими статьями. В третьем: четыре портрета (гг. Ободовского, Мятлева, Бегичева и Маркова) лишние и неуместные; три портрета (гг. Греча, Хмельницкого и Ушакова) запоздалые; при восьми портретах плохие статьи. Итого: из *тридцати* портретов *девять* лишних и неуместных, *восемь* запоздалых; из *тридцати* с лишком статей – с лишком *девятнадцать* плохих (считая за *одну* статью *пять* стихотворений г. Бенедиктова и за *одну* же статью *десять* стихотворений г. Мятлева). Хороший итог!.. Жалуйтесь после этого на холодность и равнодушие русской публики к поддержанию цветущего состояния русской литературы! Объясняйте, отчего пала наша книжная торговля!

Если б еще г. Смирдин в своих «Ста русских литераторах» имел целию представить историко-картинную галерею русской литературы, – по крайней мере в его издании не было бы запоздалых портретов! Но это издание предпринято

без всякого соображения: оттого его успех кажется довольно сомнительным...

Примечания

Список сокращений

В тексте примечаний приняты следующие сокращения:

Анненков – П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Гослитиздат, 1960.

БАН – Библиотека Академии наук СССР в Ленинграде.

Белинский, АН СССР – В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. I–XIII. М., Изд-во АН СССР, 1953–1959.

Герцен – А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах. М., Изд-во АН СССР, 1954–1966.

ГПБ – Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Добролюбов – Н. А. Добролюбов. Собр. соч., т. 1–9. М. – Л., 1961–1964.

Киреевский – Полн. собр. соч. И. В. Киреевского в двух томах под редакцией М. Гершензона. М., 1911.

КСсБ – В. Г. Белинский. Соч., ч. I–XII. М., Изд-во К. Солдатенкова и Н. Щепкина, 1859–1862 (составление и редактирование издания осуществлено Н. Х. Кетчером).

КСсБ, Список I, II... – Приложенный к каждой из первых десяти частей список рецензий Белинского, не вошедших в

данное издание «по незначительности своей».

ЛН – «Литературное наследство». М., Изд-во АН СССР.

Ломоносов – М. В. Ломоносов. Полн. собр. соч., т. 1–10. М. – Л., Изд-во АН СССР, 1950–1959.

Панаев – И. И. Панаев. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1950.

ПссБ – Полн. собр. соч. В. Г. Белинского под редакцией С. А. Венгерова (т. I–XI) и В. С. Спиридонова (т. XII–XIII), 1900–1948.

Пушкин – Пушкин. Полн. собр. соч., т. I–XVI. М., Изд-во АН СССР, 1937–1949.

Чернышевский – Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч. в 15-ти томах. М., Гослитиздат, 1939–1953.

Сто русских литераторов. Том третий

Впервые – «Отечественные записки», 1845, т. XLII, № 9, отд. V «Критика», с. 1–24 (ц. р. 31 августа; вып. в свет 4 сентября). Без подписи. Вошло в КСсБ, ч. IX, с. 439–483.

«Сто русских литераторов» – издание, предпринятое А. Ф. Смирдиным и рассчитанное на 10 томов, в каждом из которых должны были быть представлены произведения (повести, рассказы, очерки, стихотворения и т. д.) десяти современных авторов. Оно было задумано по образцу французского издания: «Paris, ou le Livre de Centetun» («Париж, или Книга Ста одного»), выпущенного книгопродавцем Лавока

в 1831–1833 гг. в 10-ти томах. Первый том «Ста русских литераторов» вышел в 1839 г. (см. рецензию на него – наст. изд., т. 2, с. 399–406); второй – в 1841 г. (см. статью о нем – наст. изд., т. 4, с. 64–93); третий (оказавшийся последним) – в 1845 г.

Появлению статьи 1845 г. предшествовала краткая заметка в отделе библиографии кн. 8 «Отечественных записок» о выходе т. III издания. В ней между прочим говорилось: «Какая книга! Толстая, увесистая, с портретами, с картинками, пятнадцать стихотворений, восемь статей в прозе, огромная драма в стихах! О такой книге – или надо говорить все, или не надо ничего говорить». Далее давалась следующая ироническая характеристика тома: «Эта книга так наивно, так добродушно, сама того не зная, выражает собою русскую литературу, впрочем не совсем современную, а особливо русскую книжную торговлю» (Белинский, АН СССР, т. IX, с. 222). Это обстоятельство Белинский и обещал избрать основной темой будущей статьи.

Касаясь материалов не только третьего, но и двух предыдущих томов издания и повторяя наиболее существенные заключения, уже высказанные в статье 1841 г., Белинский основной удар обращает против «советчиков» Смирдина, то есть против Булгарина и Греча – издателей «Северной пчелы», и Сенковского – редактора «Библиотеки для чтения», чьи мнения и пристрастия определяли выбор авторов для издания.

Статья Белинского полемически противопоставлена появившейся незадолго перед тем статье Сенковского о том же издании в «Библиотеке для чтения» (1845, т. LXXI, № 8, отд. V). Сенковский писал о смирдинской «эпохе деятельности, блеску и дарований» в русской литературе, когда «все кипело умственной жизнью, все старалось думать, все изобретало, ухищрялось, писало, потому что Смирдин все печатал» (с. 27). Соответственно падение литературной деятельности связывалось с коммерческим упадком предприятия Смирдина.

Белинский противопоставляет этому апологетическому отзыву, как он это делал и в обзорах русской литературы за 1843 и 1844 гг., утверждение о лишь мнимом численном богатстве литературы предшествовавших лет, не определявшем еще ее истинного уровня и социального значения. Противостоят друг другу эти две статьи и оценками отдельных авторов и произведений. Так, иронически обостренная характеристика пяти помещенных в том стихотворений Бенедиктова, подчеркнуто сниженный образ его «Музы» («женщина средней руки», «страшная щеголиха, но без вкуса») противостоят дифирамбическим, также не отличавшимся вкусом определениям Сенковского («пять блестящих перл», «пять очаровательных мелодий») и т. д. Отметим попутные полемические выпады в статье и в отношении славянофилов.

Комментарии

1.

Об информации, содержащейся в заметке Белинского «Литературные новости» («Московский наблюдатель», 1839, ч. I, № 1), см. в примеч. к рецензии на т. I «Ста русских литераторов» – наст. изд., т. 2, с. 591–592.

2.

В издании А. Ф. Смирдина «История государства Российского» Карамзина выходила в 1830–1831 и 1833–1835 гг. Полное издание И. Эйперлинга в 12-ти томах, включавшее все примечания к тексту, «Ключ, или алфавитный указатель», составленный П. Строевым, и отрывки из «Записки о древней и новой России», вышло в 1842–1843 гг. О достоинствах этого издания см. в специальных рецензиях на кн. I и кн. III «Истории» (Белинский, АН СССР, т. VI, с. 231–233, и наст. изд., т. 5).

3.

Имеется в виду «Роспись российским книгам для чтения из библиотеки Александра Смирдина», ч. I–IV. СПб., 1828 (с прибавлениями, вышедшими в 1829 и 1832 гг.), составленная известным библиографом В. Г. Анастасевичем. При всех недостатках в классификации книг, отмеченных здесь Белинским, «Роспись» представляла

выдающийся библиографический труд.

4.

«Смеющийся Демокрит, или Поле честных увеселений с поруганием меланхолии», переведено с латинского языка» И.-П. Ланге, М., 1769; «Дочь молочника, истинная и занимательная повесть» (1817); «Ключ к таинствам природы» немецкого мистика К. Эккартсгаузена – русск. перев., в 4-х томах, СПб., 1804.

5.

Опекунский совет – учреждение, существовавшее в России при крепостном праве; им устраивались аукционы по продаже имений несовершеннолетних владельцев для покрытия долгов, числившихся за ними.

6.

Цитата из статьи С. П. Шевырева «Словесность и торговля» («Московский наблюдатель», 1835, ч. I, кн. 1). Курсив и знаки восклицания и вопроса в скобках Белинского.

7.

С. П. Шевырев поместил в «Библиотеке для чтения» за 1834 г. (т. VI) статью «Сикст V. Историческая характеристика».

8.

См. примеч. 50 к статье «Русская литература в 1844 году».

9.

Видимо, речь идет о Ф. В. Булгарине и Н. И. Грече.

10.

Ср. в стихотворении Е. А. Баратынского «Последний поэт»:

11.

«Энциклопедический лексикон» начал выходить в издательстве А. А. Плюшара в 1835 г. под редакцией Н. И. Греча и О. И. Сенковского. В написании статей для него принимали участие видные ученые того времени (например, Н. И. Надеждин). Плохая организация дела привела к сокращению подписки, прекращению издания в 1841 г. на т. 17 (буква Д) и объявлению о несостоятельности издателя.

12.

Лаж (от ит. l'aggio) – превышение рыночного курса бумажных денег и других ценных бумаг по сравнению с номиналом.

13.

Имя А. А. Орлова, автора лубочных произведений 1830-

х гг., всегда иронически сопоставлялось с именами других плохих писателей после известного фельетона Пушкина «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», опубликованного им под псевдонимом «Феофилакт Косичкин» в «Телескопе» (1831, № 3). Там Орлов сопоставлялся с Булгариным. Здесь сопоставление с романистом и драматургом Р. М. Зотовым подкреплялось тем, что последний выступал как фельетонист в «Северной пчеле». Оно связывалось и с намеком (см. далее) на то, что «роковой совет» включить Р. Зотова в состав авторов сборника дан Булгариным и Гречем.

14.

Статья – здесь в устарелом значении как обозначение любой отдельной единицы, отдельного сочинения в составе периодического издания или сборника.

15.

К «благоприятелям» П. П. Каменского – эпигона Марлинского – следует отнести прежде всего О. И. Сенковского. А. А. Краевский также оберегал его от критики. См. наст. изд., т. 2, с. 606, и т. 4, с. 553. Это первый прямо отрицательный отзыв о Каменском в «Отечественных записках».

16.

Наш военный Тит Ливий и Плутарх – А. И. Михайловский-Данилевский, генерал-лейтенант, военный историк, автор описаний войн при Александре I, жизнеописаний русских полководцев 1812–1815 гг. и т. д. Об отношении его с Белинским – см.: Панаев, с. 256–259.

17.

«Воин-литератор», автор книжек и статей на военную тему, в частности для солдатского чтения – И. Н. Скобелев (псевдонимы: «Русский инвалид», «Чесменский инвалид»), генерал, комендант Петропавловской крепости.

18.

Эта и пять приведенных выше цитат – из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Лебедь». Здесь и далее курсивы и знаки вопроса в скобках принадлежат Белинскому.

19.

Эта и предыдущие четыре цитаты – из стихотворения Бенедиктова «Коса».

20.

Цитаты из стихотворения Бенедиктова «Разоблачение».

21.

Из стихотворения Бенедиктова «Порыв».

22.

См., например, стихотворение К. Доводчикова «В. Г. Бенедиктову» («Библиотека для чтения», 1845, т. LXXI, отд. I, с. 5–6):

23.

Речь идет о С. П. Шевыреве и его статье о стихотворениях Бенедиктова («Московский наблюдатель», 1835, ч. III, август, кн. 1).

24.

Об отношении Белинского к Марлинскому см. статью «Полное собрание сочинений А. Марлинского» и примеч. к ней (наст. изд., т. 3); о Языкове см. статью «Русская литература в 1844 году», наст. т., с. 183–192, и примеч. к ней.

25.

Курсив «намекает» здесь на особые отношения Н. И. Греча и Ф. В. Булгарина в их «деле».

26.

Н. И. Греч как грамматист выпустил в 1809 г. «Таблицу русских склонений», в 1811-м – «Таблицу русских спряжений», позднее – «Практическую русскую грамматику» (1826); «Пространную русскую

грамматику» (1827) и др. Его грамматики имели узконормативный характер; многократно переиздавались.

27.

Белинский иронизирует. Греч в 1830–1840-х гг. много ездил за границу и выпустил ряд книг о своих поездках. Ср.: «Путевые письма из Англии, Германии и Франции» (СПб., 1839), Письма с дороги по Германии, Швейцарии и Италии» (СПб., 1843) и др.

28.

Греч был редактором «Сына отечества» в 1813 г., редактором-издателем с 1814 по 1837 г. (поочередно то совместно с А. Ф. Воейковым, то – большее время – с Ф. В. Булгариным), в 1838–1840-х гг. редактором (совместно с Булгариным и А. В. Никитенко). Издателем-редактором «Северной пчелы», вместе с Булгариным, Греч был с 1831 г.

29.

Ср. слова Репетилова («Горе от ума», д. IV, явл. 4) об Удушье Ипполите Маркелыче:

30.

«Символика и мифология древних народов, преимущественно греков» – главный труд немецкого филолога, профессора Марбургского и Гейдельбергского

университетов Фридриха Крейцера (Лейпциг, 1810–1820).

31.

Поэма И. П. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границую, дан л'Этранже» вышла в 1840–1844 гг. (в 3-х томах). Маленькие рецензии на отдельные ее тома см.: Белинский, АН СССР, т. V, с. 165–166, и т. VIII, с. 221–222.

32.

Ср. в «Графе Нулине» Пушкина:

33.

Д. П. Бегичев — автор романа «Семейство Холмских» (1832); был крупным чиновником, воронежским губернатором, сенатором. Его первый роман был выпущен анонимно; в последующих книгах (ср., например, роман «Ольга», 1841) он обозначался как «автор «Семейства Холмских». «Сомнение» в тождестве автора «Семейства Холмских» и крупного чиновника здесь, конечно, служит поводом для насмешки над сановным автором.

34.

Курсив в цитате принадлежит Белинскому.

35.

«Киргиз-кайсак» (1830); статьи В. А. Ушакова о театре публиковались в журнале «Московский телеграф» в 1829 г. и сл.

36.

С яиц Леды (ср. лат. ab ovo) – с самого начала. Из яйца Леды вылупилась, по преданию, Елена – виновница Троянской войны.

37.

Цитаты из статьи О. И. Сенковского о сб. «Сто русских литераторов» («Библиотека для чтения», 1845, т. LXXI, отд. V, с. 50) с небольшими отступлениями от текста. Курсив Белинского.